

Азбука
PREMIUM

К Н И Г И
ГЕНРИ МИЛЛЕРА

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «АЗБУКА»

Замри, как колибри
Мудрость сердца
Под крышами Парижа
Книги в моей жизни
Книга о друзьях
Тропик Рака
Черная весна
Тропик Козерога
Сексус
Плексус

ГЕНРИ МИЛЛЕР

Плексус



АЗБУКА

Санкт-Петербург

УДК 821.111(73)
ББК 84(7Сое)-44
М 60

Henry Miller
Originally published under the title
PLEXUS,
2nd part of the trilogy THE ROSY CRUCIFIXION
Copyright © 1953 by Henry Miller. The Estate of Henry Miller
All rights reserved
Published in Russian language by arrangement
with Lester Literary Agency

Перевод с английского
Николая Пальцева (гл. 1–7),
Валерия Минушина (гл. 8–17)

Серийное оформление Вадима Пожидаева

Оформление обложки Ильи Кучмы

ISBN 978-5-389-12418-9

© В. Минушин, перевод (гл. 8–17), 2017
© Н. Пальцев, перевод (гл. 1–7), 2017
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“», 2017
Издательство АЗБУКА®

В облегающем персидском платье и тюрбане в тон, она выглядела обворожительно. В городе пахло весной, и она натянула на руки пару длинных перчаток, а на полную точечную шею небрежно накинула элегантную меховую горжетку. Обозревая окрестности в поисках жилья, мы остановились на Бруклин-Хайтс¹ — с тайным умыслом оказаться как можно дальше ото всех, с кем были знакомы. Единственным, кому мы намеревались дать наш новый адрес, был Ульрик. Вдали от Кронски, от Артура Реймонда начиналась для нас подлинная, свободная от непрошенных вторжений извне *vita nuova*².

В день, отведенный поискам уютного любовного гнездышка, мы оба так и лучились счастьем. Раз за разом, заходя в вестибюль и нажимая кнопку звонка, я чувствовал, как она прижимается ко мне, и отвечал тем же. Платье обнимало ее фигуру, как футляр скрипку. Никогда еще не была она так соблазнительна. Случалось, дверь отворяли раньше, чем нам удавалось разомкнуть объятия. Порой доходило до смешного: нас вежливо просили предъявить брачное свидетельство или продемонстрировать обручальные кольца.

Уже смеркалось, когда мы набрали на чуждую предрасудков добросердечную даму-южанку, тотчас проникшую к нам симпатией. Квартиру она сдавала поистине рос-

¹ *Бруклин-Хайтс* — исторический район, расположенный неподалеку от центра Бруклина.

² Новая жизнь (*ит.*).

кошную, но заоблачной была и арендная плата. Мона, как и следовало ожидать, немедленно загорелась: именно о таких апартаментах она всю жизнь мечтала. А то обстоятельство, что просили за них вдвое больше, чем было нам по силам выложить, ее несколько не смущало. На этот счет я мог не беспокоиться: она-де все «уладит». По правде говоря, мне и самому квартира нравилась не меньше; просто я не питал особых иллюзий по части того, удастся ли разрешить вопрос с квартплатой. Я не сомневался: сними мы ее — и немедленно окажемся на мели.

Между тем у хозяйки дома наша платежеспособность, похоже, не вызвала опасений. Она пригласила нас в собственные апартаменты на втором этаже, усадила, подала шерри. Вскоре в дверях показался ее муж, столь же доброжелательный и любезный. Джентльмен до кончиков ногтей, он был родом из Виргинии. На обоих произвел благоприятное впечатление тот факт, что я служу в «Космодемонике». Супруги искренне удивились, услышав, что такой молодой человек, как я, занимает в компании столь ответственный пост. Мона, ясное дело, разыграла этот козырь по максимуму. Послушать ее, так мне не сегодня завтра светило кресло в совете директоров, а еще через пару-тройку лет, чем черт не шутит, должность вице-президента.

— Разве не так считает твой мистер Твиллигер? — обратилась она ко мне, провоцируя на утвердительный кивок.

Мы договорились, что внесем задаток, всего-навсего десять долларов — смешную сумму, если учесть, что в месяц предстояло выкладывать девяносто. Как мы их наскребем, хотя бы за первый месяц проживания, не говоря уж о мебели и бытовых мелочах, без которых не обойтись, — обо всем этом у меня не было ни малейшего представления. Я просто списал эти десять долларов как деньги, выброшенные на ветер. Светский жест, не больше того. Ничуть не сомневаясь, что мнение Моны изменится, едва мы вырвемся из их обезоруживающих объятий.

И как обычно, я ошибался. Оказывается, она твердо решила: въезжаем. А как насчет остальных восьмидесяти

долларов? Их обеспечит один из ее штатных поклонников, служащий отеля «Брозтелл».

— Кто это такой? — рискнул осведомиться я, впервые услышав это имя из ее уст.

— Ты разве не помнишь? Я же вас познакомила всего пару недель назад — когда вы с Ульриком поравнялись с нами на Пятой авеню. Он совершенно безобидный.

Поверить ей, так все они «совершенно безобидны». На языке Моны сие означало: они никогда не помыслят смутить ее бестактным предложением провести с ними ночь. Само собой разумеется, все они «джентльмены» и, как правило, порядочные рохли. Я долго рылся в памяти, пытаюсь представить себе, как выглядел данный образчик элитарной породы. Все, что мне удалось вспомнить, — это то, что он был очень молод и очень бледен. Иными словами, ничем не примечателен. Как ей удастся удерживать своих вылощенных кавалеров от того, чтобы запустить руки ей под юбку — притом что иные из них прямо-таки сгорали от желания, — оставалось для меня тайной. Всего вероятней — доверительным тоном (как однажды проделала это со мной) излагая им свою душещипательную историю. Дескать, живет она с родителями, мать у нее — старая ведьма, а отец болен раком и не встает с постели. К счастью, я редко проявлял повышенный интерес к этим галантным воздыхателям. (Главное — не слишком углубляться, не уставал твердить я себе.) Значимо для меня лишь одно: они «совершенно безобидны».

Обустроить новое жилище — задача не из простых; тут одной квартплатой не отделаешься. Мона, конечно, сумела позаботиться и об этом. Она облегчила бумажник своего невезучего ухажера на целых три сотни. Строго говоря, затребовала-то она пятьсот, да бедняга признался, что его банковский счет горит синим пламенем. За какую оплошность и был примерно наказан: вновь снискать благосклонность своей дамы сердца ему удалось, лишь приобретя для нее в универмаге экзотическое крестьянское платье и пару дорогих туфель. Что ж, впредь будет осмотрительнее...

Поскольку в тот день у нее была репетиция, мебелью и всем прочим решил заняться я сам. Начисто отвергнув как нелепую мысль о том, чтобы платить наличными, в то время как благосостояние нашей страны целиком зиждется на рассрочке. Мне тут же пришла в голову Долорес, в последнее время всерьез занявшаяся оптовыми поставками на Фултон-стрит. Отлично, к ней я и обращаюсь.

Отобрать все, чему предстояло украсить нашу роскошную брачную обитель, было делом одного часа. Обходя зал за залом, я выбирал действительно нужное и красивое, увенчав внушительный перечень новоприобретений великолепным письменным столом со множеством выдвижных ящичков. Долорес не удалось скрыть оттенка легкой озабоченности тем, сколь исправно мы будем вносить ежемесячные платежи, но я заверил ее, что Моне хорошо платят в театре. А я — я ведь еще тяну лямку в своем Космококковом борделе.

— Да, но алименты... — пробурчала Долорес.

— А, ты *это* имеешь в виду. Ну, это уже ненадолго, — отвечал я с улыбкой.

— Хочешь сказать, что намерен ее бросить?

— Близко к тому. Всю жизнь ведь не проживешь с камнем на шее.

Она считала, что это вполне в моем стиле: дескать, чего еще и ждать от такого подонка. Впрочем, из ее тона явствовало, что подонки — народ, не лишенный приятности и обаяния. Прощаясь, Долорес добавила:

— Вообще-то, с тобой надо держать ухо востро.

— Та-та-та, — передразнил я. — Ну не расплатимся, так мебель заберут. О чем волноваться-то?

— Да я не о мебели, — отозвалась она, — я о себе.

— Ну, тебя-то уж я не стану подводить, сама знаешь.

И разумеется, подвел, пусть ненамеренно. В тот момент, подавив первоначальные сомнения, я свято и искренне верил, что все сложится наилучшим образом. Вообще, впад в уныние или отчаяние, я неизменно шел за поддержкой к Моне. Ее мысли были без остатка заняты будущим. Прошлое было сказочным сном, прихотливое течение которо-

го направлялось в новое русло с любым ее капризом. Согласно ее философии, опираясь на прошлое, нельзя делать выводы — это самый ненадежный способ оценивать вещи. Для нее прошлого просто не существовало, особенно прошлого, полного неудач и разочарований.

Мы на удивление быстро освоились в новых апартаментах. Как выяснилось, дом ранее принадлежал судье, человеку состоятельному, все в нем реконструировавшему по своему вкусу. А вкусом, надо признать, он обладал отличным, в чем-то сибаритским. Полы были инкрустированы редкими породами дерева, стены — дорогими ореховыми панелями. Комнаты украшали драпировки розового шелка, а в книжных шкафах, приди такая фантазия, можно было разлечься, как в спальном вагоне. Мы занимали всю переднюю половину первого этажа, выходявшего окнами на самый спокойный, аристократический квартал в Бруклине. Все наши соседи разъезжали на лимузинах, к их услугам были дворецкие, а один взгляд на ежедневный рацион их породистых псов и выхоленных кошек моментально наполнял наши рты голодной слюной. С обеих сторон окруженный особняками, только наш дом был разделен на квартиры.

Позади двух наших комнат, за раздвижными дверями, была еще одна — огромная; к ней примыкали небольшая кухня и ванная. По какой-то причине она так и осталась несданной. Возможно, на взгляд потенциальных съемщиков, она была темновата. Большую часть дня, благодаря окнам из дымчатого стекла, в комнате царил полумрак, как под монастырскими сводами. Однако стоило вспыхнуть в оконных стеклах лучам заходящего солнца, отбрасывающим на гладко отполированный пол огненные орнаменты, как все в ней преобразалось. В эти сумеречные часы я любил в одиночестве расхаживать там взад и вперед в созерцательном расположении духа. Бывало и другое. Случалось, раздевшись, мы с Моной танцевали на сверкающем паркете, с любопытством вглядываясь в трепещущие магические знаки, какие писало дымчатое стекло на наших обнаженных телах. Или иначе: в приступе беспричинного

веселья я совал ноги в бесшумные домашние туфли и выписывал по паркету круги и восьмерки, словно звезда ледового балета, или пуще того — ходил на руках, подпевая себе фальцетом. А порою, подвыпив, принимался корчить гримасы, подражая моим любимым персонажам много раз виденного бурлеска.

Первые несколько месяцев, когда нам каким-то чудом удавалось сводить концы с концами, промелькнули как в волшебном сне. Иначе не скажешь. Ни один смертный не нарушил нашей любовной идиллии неожиданным вторжением. Мы существовали только друг для друга — в теплом, уютном гнезде. И не нуждались ни в ком, не исключая и Господа нашего. Во всяком случае, так нам казалось. По соседству, на Монтегю-стрит, помещалась библиотека¹ — суровое здание, чем-то напоминавшее морг, но полное бесценных сокровищ. Мона была в театре, а я читал. Читал все, что хотелось, притом с удвоенным вниманием. Часто я даже отрывался от книги — уж слишком прекрасны были эти стены. Как сейчас помню: не спеша закрываю книгу, поднимаюсь со стула, задумчиво и просветленно прохаживаюсь по квартире, испытывая величайшее удовольствие оттого, что живу. Замечу, не кривя душой: я ничего не желал, только бы длилось без конца это райское существование. Все, чем я владел, пользовался, все, что носил, было дарами Моны: шелковый халат, который был больше к лицу какому-нибудь прославленному актеру, идолу восхищенной публики, нежели вашему покорному слуге, восточные домашние туфли ручной работы, мундштук, который я пускал в ход лишь в ее присутствии. Страхивая пепел, я, бывало, скользил рассеянным взглядом, любуясь изяществом вещицы. Мундштуков она купила для меня целых три, все изысканные, необычные, поразительно тонкой работы. Они были так красивы, так артистичны, что впору было молиться на них.

Неотразимую притягательность таило в себе и окружение гнездышка. Стоило чуть-чуть пройти в любом направ-

¹ Бруклинская публичная библиотека.

лении, как ты оказывался в самых живописных местах города: под фантастической аркой Бруклинского моста или у старых причалов, где взад и вперед бойко сновали турки, арабы, сирийцы, греки и прочие смуглые люди с откровенно восточной внешностью; у верфей и доков, где, бросив якорь, застыли пароходы со всех концов света, или у торгового центра возле городской управы, по вечерам озарявшегося целым фейерверком разноцветных огней. А совсем рядом, на Коламбия-Хайтс, невозмутимо высились строгие шпили старых церквей, фасады уважаемых клубов, особняки богатых ньюйоркцев — словом, та аристократическая сердцевина города, какую со всех сторон неумолимо подтачивали беспокойные полчища иноземцев, отверженных и неимущих, ютившихся по окраинам.

Мальчишкой я часто бывал здесь, наведываясь к тетушке, жившей над конюшней, примыкавшей к одному из отвратительнейших старых особняков. А неподалеку, на Сэккетт-стрит, в былые времена обитал мой давний товарищ Эл Берджер, сын капитана грузового буксира. Я познакомился с Элом на побережье Неверсинк-Ривер, когда мне было пятнадцать. Это он научил меня плавать как рыба, нырять с отмелей, стрелять из лука, бороться «по-индейски», а при надобности и просто пускать в ход кулаки, пробегать без усталости солидные расстояния и еще многому другому. Предки Эла были голландцы, и, как ни странно, все члены его семейства обладали прекрасным чувством юмора, — все, за вычетом его брата Джима, франта, спортсмена и напыщенного самодовольного дурня. Опять же в противоположность добропорядочным предкам в доме Берджеров постоянно царил невероятный кавардак. Каждый в этой семейке, похоже, шел собственным курсом: обе дочери, одна красивее другой, да и мамаша, дама весьма вольных манер, но тоже недурная собой и, что еще важнее, отличавшаяся на редкость веселым, щедрым, беззаботным нравом. Когда-то она пела в опере. Сам «капитан» редко показывался. А уж если показывался, то непременно на бровях. Не помню, чтоб миссис Берджер хоть раз накормила нас приличным обедом. Когда нам подводило живот от

голода, она просто швыряла на стол какую-то мелочь: подите, мол, купите чего-нибудь поесть. Покупали мы всегда одно и то же: франкфуртеры, картофельную смесь, пикули, сладкий пирог, печенье. Зато у Берджеров в избытке водились горчица и кетчуп. Кофе неизменно бывал жидким как помой, молоко скисшим, во всем доме не сыскать было чистой тарелки, чашки, ножа или вилки. И все же не было ничего веселей этих беспшабашных трапез, а мы, подростки, отличались волчьим аппетитом.

Жизнь улицы — вот что интересовало меня больше всего и всего прочней отложилось в памяти. Друзья Эла, казалось, принадлежали к другой породе мальчишек, нежели те, с кем я обычно общался. На Сэккетт-стрит было больше теплоты, больше открытости, больше гостеприимства. Будучи едва ли старше меня, товарищи Эла неизменно производили впечатление более взрослых, более самостоятельных. Возвращаясь оттуда домой, я всегда чувствовал себя богаче. Быть может, отчасти потому, что там, на бережной, люди жили из поколения в поколение, сложившись в более однородную группу, чем на нашей улице. Одного из сверстников Эла я хорошо помню до сих пор, хотя он много лет как умер: Фрэнк Шофилд. Когда мы познакомились, ему было только семнадцать, но ростом он был со взрослого мужчину. Сейчас, по прошествии лет, я могу уверенно утверждать, что у нас с ним не было решительно ничего общего. Однако к Фрэнку притягивала его легкая, естественная, непринужденная манера держаться, его неизменная уступчивость, готовность без задних мыслей принять все, что ему предлагалось: от теплого рукопожатия и холодного франкфуртера до старого ножа для бумаги и прощального привета. И вот Фрэнк вырос, превратившись в грузного, неуклюжего, но инстинктивно сноровистого мужика — сноровистого настолько, чтобы стать правой рукой очень влиятельного газетчика, с которым Фрэнк разъезжал во все концы света и для которого выполнял тьму неблагодарных заданий. Быть может, после тех незабываемых дней на Сэккетт-стрит мы и встречались-то с ним три-четыре раза. Но я всегда о нем помнил. Стоило только

представить его себе: толстого, добродушного, доверчивого, — как на душе становилось легче. Фрэнк никогда не писал писем, только открытки. Его каракули почти невозможно было разобрать. В одной строке он извещал, что с ним все о'кей, жизнь прекрасна, а ты куда делся, черт тебя по-бери?

Когда бы нас с Моной ни навещал Ульрик (а бывало это обычно по субботам и воскресеньям), я тут же вытаскивал его из дому — побродить по местам моих ранних лет. Знакомый с ними с детства, как и я, Ульрик в таких случаях предусмотрительно захватывал с собой тетрадь для эскизов — сделать, как он выражался, «пару почеркушек». Меня восхищала легкость, с какой он действовал кистью и карандашом. И в голову не приходило, что однажды наступит день, когда я сам примусь делать то же. Ведь он был художником, а я — писателем (во всяком случае, лелеял надежду рано или поздно стать таковым). Блистательный мир живописи представал мне страной пленительного волшебства, вход в которую был для меня раз и навсегда заказан.

Хотя за протекшие годы Ульрику так и не довелось снискать признания у собратьев по ремеслу, его отличало утонченное знание мира искусства. Никто лучше его не мог говорить о любимых живописцах. В ушах у меня и по сей день звучат обрывки его долгих красноречивых рассуждений о таких мастерах, как Чимабуэ, Уччелло, Пьеро делла Франческа, Боттичелли, Вермеер — всех не перечить. Мы могли часами разглядывать альбом репродукций какого-нибудь из гигантов прошлого. Разглядывать, анализируя — вернее, анализировал он, а я слушал — достоинства одного-единственного полотна того или иного художника. Думаю, так тепло и проникновенно говорить о мастерах Ульрик мог потому, что сам был непритворно скромнен и безраздельно предан искусству. Скромнен и предан в подлинном смысле слова. Для меня не подлежит сомнению, что в душе и он был мастер. И хвала господу, так и не утратил своей способности преклоняться и боготворить. Ибо воистину редки те, кто от рождения наделен этим талантом.

Подобно детективу О'Рурку, Ульрик мог в самый неподходящий момент, застыв на месте, вслух восхищаться тем, чего любой другой не заметил бы. Случалось, во время нашей прогулки по набережной он вдруг остановится, укажет на какой-нибудь непрезентабельный, облупившийся фасад, а то и просто на обломок стены, и пустится в восторженный монолог о том, как изысканно они контрастируют с небоскребами на противоположном берегу или с устремившимися в небо мачтами судов у причала. Термометр мог быть на нуле, нас мог до костей пронизывать ледяной ветер — Ульрику все было нипочем. В такие минуты он с пристыженным видом извлекал из кармана какой-нибудь смятый конверт и огрызком карандаша делал «почеркушки». Не помню, правда, чтобы позднее эти наброски во что-то воплощались. По крайней мере, тогда. Те, кто снабжал Ульрика заказами (на эскизы абажуров, этикетки банок с консервированными бананами, помидорами и тому подобным), постоянно висели у него на хвосте.

А в перерывах между этими «трусами» он был горазд уламывать друзей — и особенно подруг — позировать ему в мастерской. В промежутках между заказами Ульрик писал яростно и самозабвенно, словно готовясь выставиться в Салоне¹. Когда он оказывался перед мольбертом, на него внезапно находили все странности и причуды, отличающие подлинного маэстро. Энергия, с которой он набрасывался на холст, внушала священный ужас. Итоги же, как ни странно, всегда обескураживали. «Пропади все пропадом, — говорил он в полном отчаянии, — я всего-навсего безнадёжный иллюстратор». Как сейчас, вижу его рядом с одной из его законченных — и неудавшихся — работ: он тяжело вздыхает, стонет, исходит желчью, рвет на себе волосы. Протягивает руку к альбому картин Сезанна, вглядывается в одно из любимых своих полотен, затем невесело усмеяется, возвращаясь взглядом к собственному детищу: «Ну

¹ Парижский салон — одна из самых престижных художественных выставок Франции, официальная регулярная экспозиция парижской Академии изящных искусств.

почему, черт возьми, хоть раз в жизни не дано мне написать ничего *такого*? Что мне мешает, как ты думаешь? О господи...» И издает безнадежный вздох, а подчас и нескрываемый стон.

— Знаешь что, давай выпьем? Что проку состязаться с Сезанном? Я знаю, Генри, знаю, где собака зарыта. Суть дела — не в *этой* картине и не в той, что я писал до нее, а в том, что все в моей жизни шиворот-навыворот. Ведь творчество — не что иное, как отражение самого творца, того, что он изо дня в день чувствует и думает, не правда ли? А что я такое с этой точки зрения? Старая калоша, которой давно пора на помойку, разве нет? Вот ведь как обстоит! Ну, *за помойку!* — И поднимает стакан, с болью, с неподдельной болью сжав губы.

Ценя в Ульрике его непритворное преклонение перед большими мастерами, полагаю, я восхищался еще и тем, сколь успешно он исполнял роль вечного неудачника. Не знаю никого другого, кому удавалось бы так высвечивать в своих постоянных крушениях и провалах некое подобие величия. Можно сказать, он обладал неповторимым даром заставить собеседника почувствовать, что, возможно, лучшее в жизни, помимо художнического триумфа, — это тотальное поражение.

Не исключено, что так оно и есть. Грехи Ульрика искупало полное отсутствие в нем творческого честолюбия. У него не было жгучей потребности в публичном признании; быть хорошим художником он стремился во имя чистой радости творения. Хорошее, только хорошее — вот все, что импонировало ему в жизни. Он был сенсуалистом до мозга костей. Играя в шахматы, Ульрик неизменно предпочитал набор фигур китайской работы — притом что играл он из рук вон плохо. Просто прикасаться пальцами к изящным фигуркам из слоновой кости доставляло ему несказанное удовольствие. Помню, как мы шныряли по музеям в поисках антикварных шахматных досок и наборов. Доведись Ульрику сесть за доску, некогда украшавшую стену средневекового замка, — и он был бы счастлив до небес, не важно, одержал бы верх над противником или проиграл.

Все, чем пользовался, он выбирал с величайшей тщательностью: одежду, саквояжи, домашние туфли, настольные лампы — все без исключения. А выбрав, холил и лелеял избранное, как живое существо. О своих приобретениях он говорил, как другие говорят о любимых животных, даря им нешуточную долю своего душевного тепла, даже когда вокруг не было посторонних. Если подумать, прямая противоположность Кронски. Тот, бедолага, влачил свои дни среди барахла, выброшенного за ненадобностью его предками. Ничто для него не представляло ценности, не было наделено смыслом или значением. Все у него в руках разваливалось, крошилось, рвалось и засаливалось. И тем не менее в один прекрасный день (я так и не понял, как это случилось) Кронски начал писать. И начал с блеском. С таким блеском, что я едва верил своим глазам. Кронски предпочитал яркие, светонесные краски, будто сам он только что прибыл из России. Дерзостью и самобытностью отличались и темы его картин. Он писал по восемь-десять часов кряду, погружаясь в это занятие без остатка и без усталости напевая, насвистывая, пританцовывая, даже аплодируя самому себе. К несчастью, в его биографии это оказалось лишь мимолетной вспышкой. Спустя несколько месяцев она безвозвратно угасла. Не помню, чтобы после этого он когда-нибудь вымолвил хоть слово о живописи. Похоже, начисто забыл, что вообще держал в руках кисть...

Как раз в это время, когда события разворачивались для нас как нельзя лучше, я столкнулся в библиотеке на Монтегю-стрит с весьма примечательной личностью. Меня там уже успели хорошо узнать, и было отчего: я постоянно спрашивал книги, которых в библиотеке не было, настаивая, чтобы дорогие и редкие издания выписывали из других хранилищ, сетовал на скудость фондов, на нерасторопность обслуживания — в общем, зарекомендовал себя как зануда и придира. Хуже того, меня постоянно штрафовали за просроченную сдачу или утерю библиотечных книг (каковы, разумеется, благополучно перекочевывали на мои книжные полки), а также за вырванные страницы. Время от времени мне, как школьнику, публично выговаривали за

подчеркнутые красными чернилами строки или пометки на полях. И вот однажды, в процессе поиска каких-то труднодоступных монографий о цирке (зачем мне это нужно было, одному Господу ведомо), я разговорился с ученого вида человеком, который, как оказалось, был одним из служителей. В ходе разговора я узнал, что ему довелось видеть представления самых любопытных цирковых трупп в Европе. С его губ сорвалось слово *Медрано*. Абсолютно незнакомое, оно прочно запало мне в память. Как бы то ни было, я проникся к моему собеседнику такой симпатией, что тут же пригласил его к нам. А едва выйдя на улицу, позвонил Ульрику, предложив ему присоединиться к нашей компании.

— Ты когда-нибудь слышал о цирке Медрано? — спросил я.

Короче говоря, следующий вечер оказался почти безраздельно посвящен цирку Медрано и всему, что с ним связано. Когда библиотекарь распрощался с нами, я был в эйфории.

— Вот тебе и Европа, — бормотал я про себя, не в силах успокоиться. — И он там был... и все видел. *Черт побери!*

Скоро у библиотекаря вошло в привычку заглядывать к нам по вечерам; под мышкой у него всегда были какие-нибудь редкие книги, на которые, с его точки зрения, мне стоило взглянуть. Обычно он прихватывал с собой и бутылку. Подчас садился с нами за шахматы, задерживаясь до трех-четырёх ночи. И каждый раз я понуждал его пускаться в рассказы о Европе; таков был, если можно так выразиться, «вступительный взнос» нашего нового знакомого. Тема Европы буквально пьянила меня; я готов был часами разглагольствовать о ней, словно и сам бывал там. (Совершенно так же вел себя мой отец. Никогда не выезжая за пределы Нью-Йорка, он рассуждал о Лондоне, Берлине, Гамбурге, Бремене, Риме, будто всю свою жизнь прожил за границей.)

Как-то вечером Ульрик притащил с собой большую карту — план парижской подземки. Встав на четвереньки вокруг расстеленной на полу карты французской столи-

цы, мы все втроем пустились в захватывающее путешествие по ее улицам, наведываясь в библиотеки, музеи, соборы, цветочные магазины, мюзик-холлы, бордели, инспектируя кладбища, бойни, вокзалы и тысячу других мест. Наутро, поднявшись с постели, я ощутил, что настолько переполнен Европой, что у меня просто недостает сил отправиться на службу. Пришлось последовать давней привычке: сняв трубку, сообщить в контору, что беру отгул. Нежданные выходные всегда приводили меня в восхищение. Взять отгул значило выспаться в свое удовольствие, затем до полудня расхаживать по квартире в пижаме, крутить пластинки, лениво перелистывать книги, не спеша прогуляться по набережной, а после сытного завтрака сходить в театр на дневное представление. Больше всего я любил хорошие водевили, на которых хохотал до колик.

После таких именин сердца возвращение в рабочую колею становилось еще более трудным делом. Чтобы не сказать — невозможным. И Моне ничего не оставалось, как выдать боссу привычный звонок, извещая, что я вконец расклеился. Последний неизменно отвечал:

— Скажите ему, чтобы еще пару дней полежал в постели. И приглядывайте за ним хорошенько!

— Ну на этот раз они тебя раскусят, — пророчила Мона.

— Без сомнения, милая. Только я не так прост, как кажусь. Без меня им не обойтись.

— Возьмут да и пришлют кого-нибудь из своих проверить, в самом ли деле ты болен.

— А ты не открывай дверь, и все тут. Или скажи: Генри, мол, отправился к врачу.

Словом, до поры до времени все шло чудесно. *Лучше не придумаешь*. Я окончательно утратил интерес к работе в компании. Все, что было у меня на уме, — это начать писать. В конторе я реже и реже демонстрировал служебное рвение. Единственными, кого я достаивал персонального разговора, были люди с небезупречной биографией. Со всеми остальными претендентами управлялся мой помощник. То и дело я покидал свой кабинет, заявив, что намерен про-

ехать с инспекционным визитом по региональным отделениям компании. И, едва обеспечив себе алиби появлением в одном или двух — тех, что помещались в центре города, — прятался от рутинных забот в уютной тьме кинозала. Фильм кончался, я заглядывал еще в одно региональное отделение, докладывал оттуда в главную контору и с легким сердцем направлялся к дому. Случалось, остаток дня я проводил в картинной галерее или в библиотеке на Сорок второй улице. Или в мастерской Ульрика, или в дансинге. Неполадки со здоровьем учащались, становясь более и более продолжительными. Иными словами, все яснее обозначался кризис жанра.

Мое пренебрежительное отношение к делам служебным отнюдь не встречало у Моны протеста. В ампула управляющего по кадрам она меня решительно не воспринимала.

— Твое дело — писать, — повторяла она.

— Согласен, — отзывался я, радуясь в душе, но ощущая потребность возразить ради успокоения совести. — Согласен! Скажи только, на что мы жить будем?

— Предоставь это *мне!*

— Нельзя же до бесконечности облапошивать простофиль.

— Облапошивать? Да все, кто дает мне деньги, без труда могут себе это позволить. Я делаю им одолжение, а не они мне, запомни.

Я не соглашался, но в конце концов уступал. Спорить можно было до хрипоты, но что, спрашивается, мог я предложить? Стремясь безболезненно завершить дискуссию, я снова и снова приводил довод, казавшийся мне неоспоримым:

— Хорошо, уйду со службы, но не сегодня.

Не раз и не два нам доводилось завершать мои импровизированные выходные совместной вылазкой на Вторую авеню. Просто невероятно, сколько знакомых обнаруживалось у меня в этой части Нью-Йорка! Все без исключения, разумеется, евреи, и по большей части — помешанные на чем-нибудь. Но очень компанейские. Перекусив у папаша Московича, мы двигались в направлении кафе «Ройал».

Там-то уж точно можно было встретить любого, кого хотелось повидать.

Однажды вечером, когда мы не спеша прогуливались по Второй авеню и я как раз собирался в очередной раз бросить взгляд на витрину книжной лавки, с которой смотрело на прохожих лицо Достоевского (его портрет с незапамятных времен придавал лавке респектабельность), нас настигло бурное приветствие человека, которого Артур Реймонд именовал не иначе как старейшим из своих друзей. Перед нами был Нахум Юд собственной персоной. Нахум Юд писал на идиш. Низкорослый, с огромной головой, поросшей рыжими волосами, он производил неизгладимое впечатление своей физиономией, словно вытесанной грубым резцом и более всего напоминавшей кувалду. Стоило ему начать говорить, и вас осыпало дробью: слова буквально цеплялись одно за другое. Открывая рот, Нахум Юд не только шипел и вспыхивал, как бикфордов шнур, но и фонтанировал, обдавая собеседника неиссякающим потоком слюны. Акцент у него, выходца из Литвы, был поистине чудовищный. А улыбка — неподражаемая, как у ощерившегося крупнокалиберного орудия. Она придавала его лицу свирепое обаяние хеллоуинской тыкваенной рожи.

Я никогда не видел, чтобы Нахум Юд пребывал в ином состоянии, нежели кипуче-эйфорическое. Вот он только что открыл для себя нечто чудесное, нечто неслыханное, нечто неповторимое. Само собою, изливая на вас свой энтузиазм, он попутно обдавал вас каскадом брызг. Однако струя, выплескивавшаяся меж его передних зубов, имела то же ободряющее действие, что и игольчатый душ. Правда, подчас вместе с нею на ваших щеках имели шанс приземлиться несколько непрошенных семечек.

Ухватившись за книгу, которую я держал под мышкой, он прорывал:

— Что это вы читаете? А-а, *Гамсун*. Отлично! Прекрасный автор. — И продолжал, не оставив себе времени поздороваться: — Надо нам присесть где-нибудь и потолковать. Вы куда направляетесь? Кстати, вы обедали? Я проголодался.

— Прошу прощения, — заметил я, — мне нужно взглянуть на Достоевского.

И бросил его посреди дороги вдохновенно ораторствовать перед Моной, неистово жестикулируя и беспрерывно переминаясь с ноги на ногу. Я застыл перед ликом Достоевского (это стало для меня почти ритуалом), в очередной раз пытаюсь прозреть в его знакомых чертах нечто новое, скрытое, потаенное. Внезапно в памяти всплыл мой приятель Лу Джекобс: тот, проходя мимо статуи Шекспира, каждый раз снимал перед ним шляпу. В этом простодушном жесте было нечто большее, чем в той дани восторженного поклонения, какую я привычно воздавал Достоевскому. Он больше напоминал молитву — молитву, диктуемую неодолимым стремлением проникнуть в секрет гения. А каким обычным, даже заурядным лицом наделила природа Достоевского! Таким славянским, таким мужицким. Лицом, с которым без малейшего труда можно затеряться в толпе. (Внешне Нахум Юд гораздо больше напоминал писателя, нежели великий Достоевский.) Я стоял неподвижно, в сто первый раз тщетно пытаюсь постичь тайну личности, скрывавшейся за этими чуть обрюзгшими чертами. Все, что мне удалось отчетливо различить, — это печаль и упрямство. Печаль и упрямство вчерашнего арестанта, человека, явно сознательно избравшего для себя образ жизни тех, кто обитает на нижних этажах общества. Я весь ушел в созерцание. И наконец видел перед собой только художника — трагичного, непревзойденного художника, изважавшего целый пантеон причудливых индивидуальностей, подобных которым не было и уже не будет в литературе, индивидуальностей, любая из которых более зрима и неподдельна, более таинственна и непроницаема, нежели все свихнувшиеся российские самодержцы и жестокие, порочные папы римские, вместе взятые.

Внезапно я ощутил на плече руку Нахума Юда. Его глаза неистово вращались, в уголках рта поблескивала слюна. Видавший виды котелок, с которым он никогда не расставался, сполз до самого носа, придавая своему обладателю комичный и в то же время маниакальный вид.

— *Mysterium!*¹ — прокричал он. — *Mysterium! Mysterium!*

Я непонимающе смотрел на него.

— Так вы не читали? — изумился он.

К этому моменту вокруг нас уже собралась кучка прохожих — вроде тех, что возникают повсюду, где показывается уличный торговец с нагруженной товаром тележкой.

— О чем вы? — переспросил я.

— О вашем Кнуте Гамсуне. О самой лучшей его книге — по-немецки она называется «*Mysterium*».

— Он имеет в виду «Мистерии», — подсказала Мона.

— О да, «Мистерии», — подхватил Нахум Юд.

— Он мне все о ней рассказал, — продолжала Мона. — Похоже, она действительно замечательная.

— Лучше, чем «Странник играет под сурдинку»?

— О, *эта* — что о ней говорить! — поморщившись, встрял в разговор Нахум Юд. — За «Соки земли» они дали ему Нобелевскую премию. А «*Mysterium*» — об этом романе никто ничего не знает. Минутку, сейчас я вам все объясню... — Он умолк, развернулся вполоборота и сплюнул. — Нет, не буду. Лучше сходите в вашу Карнегиевскую библиотеку и возьмите ее. Как это у вас по-английски? «Мистерии»? Почти то же самое, но «*Mysterium*» лучше. *Mysterischer, nicht?*² — Он обнажил зубы в своей неподражаемой, шириной с трамвайную колею улыбке, и котелок опять сполз ему на глаза. Внезапно до него дошло, что вокруг нас сгрудилась толпа зевак. — Расходитесь! — закричал он, воздевая руки к небу. — Мы тут не шнурками торгуем. Что на вас нашло? Или прикажете мне арендовать зал, чтобы без помех сказать знакомому несколько слов? Здесь вам не Россия. Расходитесь по домам... Ш-ш-ш! — И снова замахал руками.

Никто не шевельнулся; в толпе только добродушно заулыбались. Судя по всему, Нахума Юда в этих местах знали хорошо. Кто-то произнес несколько слов на идиш. Ли-

¹ Тайнственное! (лат.)

² Тайнственное, не так ли? (нем.)

цо нашего собеседника озарилось еще одной, с оттенком грустноватого самодовольства, неповторимой улыбкой. Беспомощно взглянув на нас, он объяснил:

— Они, видите ли, хотят, чтобы я прочел им что-нибудь на идиш.

— Отлично, — подхватил я, — почему бы и нет?

Он опять улыбнулся, на этот раз застенчиво.

— Совсем как дети, — резюмировал он. — Ну хорошо, расскажу им притчу. Вы ведь знаете, что такое притча, не так ли? Это притча про зеленую лошадь о трех ногах. Простите, я умею рассказывать ее только на идиш.

Заговорив на родном языке, Нахум Юд вмиг преобразился. Его лицо приняло столь печально-торжественное выражение, что мне подумалось: он вот-вот разразится слезами. Однако я ошибался: аудитория моего собеседника веселилась от души. Чем печальнее и серьезнее становился тон рассказчика, тем с большей неудержимостью покатывались со смеху его слушатели. Что до Нахума Юда, он сохранял невозмутимо серьезный вид. И на той же торжественно-скорбной ноте завершил свой рассказ, финал которого потонул в оглушительном взрыве всеобщего хохота.

— Ну, — снова заговорил он, решительно повернувшись спиной к собравшимся и ухватив каждого из нас за руку, — теперь мы можем пойти куда-нибудь послушать музыку. Я знаю очень милое место на Хестер-стрит, в подвальчике. Там поют румынские цыгане, как они вам? Опрокинем по рюмочке и обсудим «Mysterium», а? Кстати, вы при деньгах? У меня только двадцать три цента. — Он вновь осклабился, на сей раз уподобившись огромному пирогу с клюквенной начинкой. По пути Нахум Юд то и дело приподнимал над головой котелок, здороваясь то с одним, то с другим прохожим. Порою он останавливался и вовлекал встречного в деловой разговор, длившийся не одну минуту. — Простите меня, — запыхавшись, извинился он, в очередной раз догнав нас с Моной, — я надеялся перехватить немного денег.

В румынском ресторанчике меня угораздило налететь на одного из бывших служащих нашей компании. В свое

время Дейв Олински работал посыльным регионального отделения на Гранд-стрит. Его имя запало мне в голову потому, что в ночь, когда отделение вчистую ограбили, Олински измолотили чуть ли не до смерти. (То, что он все-таки выжил, явилось для меня настоящим сюрпризом.) Кстати, направили его на этот небезопасный участок по собственной просьбе: квартал был сплошь населен иностранцами, и Олински, владевший восемью языками, был уверен, что сколотит целое состояние на чаевых. Все, кого я знал (включая, разумеется, людей, которым приходилось с ним работать), испытывали к Олински живейшую неприязнь. Что до меня, то он надоедал мне хуже горькой редьки своими бесконечными рассказами о Тель-Авиве. Тель-Авив и Булонь-сюр-Мер — другие имена и названия ему, казалось, неведомы. Он повсюду таскал с собой пачку открыток с видами разных портовых городов, но на большинстве почему-то были запечатлены красоты Тель-Авива. Помню, незадолго до «рокового инцидента» на Гранд-стрит я направлял Олински на работу в Кэнерси. Расписывая местные достопримечательности, я как бы между прочим заметил:

— Там превосходный *plage*¹.

Французское слово в моих устах было не случайно: всякий раз, говоря о Булонь-сюр-Мер, Олински поминал треклятый «*plage*», на который ходил купаться.

За тот промежуток времени, что мы не виделись, поведал мне Олински, он немало преуспел в страховом бизнесе. И похоже, был недалек от истины: едва мы обменялись десятком слов, как он уже принялся всучать мне страховой полис. Как бы ни был мне антипатичен этот самонадеянный субъект, я не мешал ему разливаться соловьем, рекламируя сказочные преимущества договора с его фирмой. Пусть себе попрактикуется вволю, подумал я. И к вящему неудовольствию Нахума Юда, позволил Олински разглагольствовать и дальше, всем своим видом демонстрируя умеренный интерес ко всем видам страхования: от несчаст-

¹ Пляж (фр.).

ного случая, от болезни, от пожара. Приободрившись, тот заказал нам выпивку и закуску. Мона поднялась с места и вступила в длинную беседу с владелицей ресторана. В разгар ее в зале появился еще один знакомец Артура Реймонда — адвокат по имени Мэнни Хирш. Он до страсти обожал музыку, и особенно музыку Скрябина. До Олински, помимо воли втянутого в общий разговор, не сразу дошло, о ком мы с таким энтузиазмом говорим. Когда же он смекнул, что речь идет всего-навсего о композиторе, на его лице запечатлелось глубочайшее отвращение. Может быть, нам имеет смысл перейти куда-нибудь, где не так шумно, закинул удочку он. Я ответил, что об этом не может быть и речи; и вообще у нас с Моной мало времени, так что если он намерен сообщить мне еще что-либо, лучше сделать это в темпе. Что до Мэнни Хирша, тот так и не закрыл рта с момента, когда подсел к нам за столик. В конце концов, улучив момент, Олински изловчился вновь оседлать конька, помахиывая передо мной одним страховым полисом за другим. При этом ему приходилось постоянно напрягать голос, дабы перекричать темпераментного Мэнни Хирша. В мои уши врывались два синхронных потока речи. Поначалу Нахум Юд, прикрыв одно ухо рукой, тоже пытался уловить ход разговора. Но скоро сдался и зашелся в приступе нервного смеха. А спустя еще миг присоединился к нестройному хору, без всякого перехода начав рассказывать одну из своих бесчисленных притч — рассказывать на идиш. Олински, впрочем, пронять было нелегко: теперь он говорил тише, но вдвое быстрее, памятуя о том, что каждая минута на счету. И даже когда все заведение задрожало от общего хохота, упорно предлагал мне обзавестись либо одним, либо другим полисом.

Когда я наконец объявил, что мне придется подумать, на лице у него появилось выражение человека, которого, пролетая, ужалила пчела.

— Но я же все ясно объяснил, мистер Миллер, — прохныкал он.

— Да, но у меня уже есть два страховых полиса, — солгал я.

— Ничего страшного, — моментально нашелся он, — мы их обналичим и поменяем на лучшие.

— Вот все это мне и нужно обдумать, — заключил я.

— Но здесь нечего обдумывать, мистер Миллер.

— Я не уверен, что так уж хорошо все уяснил, — отозвался я. — Пожалуй, вам имеет смысл заехать ко мне домой завтра вечером. — И невозмутимо черкнул ему свой мнимый адрес.

— А вы наверняка будете дома, мистер Миллер?

— Если задержусь, я вам позвоню.

— Но у меня нет телефона, мистер Миллер.

— Тогда пошлю вам телеграмму.

— Но на завтрашний вечер у меня уже запланированы два вызова.

— Тогда встретимся послезавтра, — продолжал я, не давая вывести себя из равновесия. — Или же, — добавил я с оттенком злорадства, — если вам удобно, заезжайте ко мне за полночь. До двух-трех ночи мы никогда не ложимся.

— Боюсь, для меня это слишком поздно, — промямлил Олински, окончательно обретая безутешный вид.

— Ну что ж, подумаем, — неторопливо проговорил я, почесывая затылок. — Почему бы нам не встретиться здесь — скажем, через неделю? Вечерком, допустим в полдесятого.

— Только не здесь, с вашего позволения, мистер Миллер.

— Прекрасно, тогда увидимся, где вы пожелаете. Завтра или послезавтра забросьте мне открытку. И прихватите с собой все полисы, не забудьте.

Пока тянулась эта финальная игра в кошки-мышки, Олински успел подняться и теперь, прощаясь, пожимал мне руку. Повернувшись к столу собрать бумаги, он обнаружил, что на бланке одного из его контрактов Мэнни Хирш машинально набрасывал фигурки животных, а на бланке другого Нахум Юд писал стихотворение на идиш. Нежданный поворот событий настолько вывел его из себя, что, побагровев от гнева, он принялся кричать на них сразу на нескольких языках. Спустя секунду вышибала — грек и в не-

давнем прошлом боксер — ухватил его за штаны пониже пояса и, оторвав от пола, понес к выходу. Когда голова Олински достигла дверного проема, хозяйка ресторана погрозила ему кулаком. На улице грек методично обшарил его карманы, извлек несколько кредиток, подал их хозяйке, а полученную от нее сдачу — несколько мелких монет — швырнул Олински, на всех четырех ползшему по тротуару с видом человека, которого средь бела дня застиг приступ радикулита.

— Нельзя так обращаться с людьми. Это жестоко, — нарушила молчание Мона.

— Ты права, но он на это напрашивался, — ответил я.

— Зря ты его подначивал.

— Согласен, но он же несносный прилипала! Не мы, так кто-нибудь другой задал бы ему трепку.

И я начал излагать историю моего знакомства с Олински. Объяснил, что не раз пытался наставить его на путь истинный, переводя из одного регионального отделения в другое. И все без толку: любое назначение завершалось для него крахом. Всюду его дискриминировали и притесняли — по его уверениям, «незаслуженно».

— Меня там просто не любят, — жаловался Олински.

— Похоже, вас нигде не любят, — заявил я ему в один прекрасный день, вконец потеряв терпение. — Скажите на милость: что за муха вас укусила? — Никогда не забуду его затравленный, уязвленный взгляд, когда я выстрелил в него этим вопросом. — Нечего отмалчиваться, — снова заговорил я, — это ваш последний шанс.

Его ответ поставил меня в тупик.

— Видите ли, мистер Миллер, я слишком амбициозен, чтобы стать хорошим посыльным. Мне следовало бы занять более ответственную должность. С моим образованием из меня вышел бы неплохой управляющий. Я знаю, как уменьшить производственные затраты, знаю, как более эффективно вести деловые операции, знаю, как привлечь в компанию новые инвестиции.

— Погодите, погодите, — перебил я. — Неужто вам не ясно: у вас нет ни малейшего шанса стать управляющим

региональным отделением. Вы просто спятили. Вы и по-английски-то не умеете толком объясниться, не говоря уж о тех восьми языках, о которых трубите на всех углах. Вы не знаете, что значит ладить с окружающими. Вы — источник общего раздражения, разве не ясно? Кончайте вешать мне лапшу на уши вашими грандиозными прожектами, скажите мне только одно: как вас угораздило превратиться в то, во что вы превратились? То есть *в самого несносного, безмозглого и беспардонного типа из всех, кого я знаю.*

На это Олински растерянно замигал, что твой филин.

— Мистер Миллер, — начал он, — вы же знаете, что я стараюсь, что я делаю все, что в моих силах...

— Дерьмо! — в сердцах воскликнул я, больше не в силах сдерживаться. — Скажите мне как на духу: почему вы уехали из Тель-Авива?

— Потому что я хотел выйти в люди, вот и все.

— Иными словами, ни в Тель-Авиве, ни в Булонь-сюр-Мер вам не удалось выйти в люди?

Он выдавил кривую улыбку. Я снова заговорил, не давая ему возможности себя перебить:

— А с родителями вы ладили? А друзья у вас были? Пойдите, пойдите, — тут я поднял руку, чтобы предупредить его протестующий ответ, — хоть одна душа на белом свете призналась, что без вас ей жизнь не мила? А? *Что, язык проглотили?*

Олински молчал. Еще не капитулировав, но уже отступив по всем фронтам.

— Знаете, кем вам стоило бы стать? — неумолимо продолжал я. — Дятлом.

Он все еще не понимал, к чему я клоню.

— Дятел, — терпеливо растолковал я, — это тот, кто зарабатывает на жизнь тем, что доносит на других, стучит на них, понимаете?

— Так вы считаете, я *для этого* создан? — взвизгнул он, вскакивая и напуская на себя вид оскорбленной добродетели.

— На все сто, — заключил я не моргнув глазом. — А если не стукачом, так палачом. Знаете, — я очертил ру-

Миллер Г.

М 60 Плексус : роман / Генри Миллер ; пер. с англ. В. Ми-
нушина, Н. Пальцева. — СПб. : Азбука, Азбука-Атти-
кус, 2017. — 672 с. — (Азбука Premium).

ISBN 978-5-389-12418-9

Генри Миллер — виднейший представитель эксперимен-
тального направления в американской прозе XX века, дерзкий
новатор, чьи лучшие произведения долгое время находились
под запретом на его родине, мастер исповедально-автобиографи-
ческого жанра. Скандальную славу принесла ему «Парижская
трилогия» — «Тропик Рака», «Черная весна», «Тропик Козеро-
га»; эти книги шли к широкому читателю десятилетиями, пре-
одолевая судебные запреты и цензурные рогатки. Следующим по
масштабности сочинением Миллера явилась трилогия «Распя-
тие розы» («Роза распятия»), начатая романом «Сексус» и про-
долженная «Плексусом». Да, прежде эти книги шокировали, но
теперь, когда скандал давно утих, осталась сила слова, сила под-
линного чувства, сила прозрения, сила огромного таланта. В ро-
мане Миллер рассказывает о своих путешествиях по Америке, о
том, как, оставив работу в телеграфной компании, пытался обра-
титься к творчеству; он размышляет об искусстве, анализирует
Достоевского, Шпенглера и других выдающихся мыслителей...

УДК 821.111(73)
ББК 84(7Сое)-44

Литературно-художественное издание

ГЕНРИ МИЛЛЕР
ПЛЕКСУС

Ответственный редактор Александр Гузман
Редактор Елена Калявина
Художественный редактор Илья Кучма
Технический редактор Татьяна Тихомирова
Компьютерная верстка Ирины Варламовой
Корректоры Светлана Федорова, Анастасия Келле-Пелле
Главный редактор Александр Жикаренцев

Подписано в печать 24.01.2017. Формат издания 84 × 108^{1/32}.
Печать офсетная. Тираж 2500 экз. Усл. печ. л. 35,28. Заказ №

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

18+

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака АЗБУКА®
119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 4
Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» в Санкт-Петербурге
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А

ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
04073, г. Киев, Московский пр., д. 6 (2-й этаж)

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт».
170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1, комплекс № 3А.
www.pareto-print.ru

ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

В Москве: ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
Тел.: (495) 933-76-01, факс: (495) 933-76-19
E-mail: sales@atticus-group.ru; info@azbooka-m.ru
В Санкт-Петербурге: Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
Тел.: (812) 327-04-55, факс: (812) 327-01-60. E-mail: trade@azbooka.spb.ru

В Киеве: ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
Тел./факс: (044) 490-99-01. E-mail: sale@machaon.kiev.ua

Информация о новинках и планах на сайтах: www.azbooka.ru, www.atticus-group.ru

Информация по вопросам приема рукописей и творческого сотрудничества
размещена по адресу: www.azbooka.ru/new_authors/



YAUM2045101R